

>МАГИСТРАЛЬ>

ЭМИЛИ БРОНТЕ

Грозовой перевал



Москва
2022

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44
Б88

Emily Jane Brontë
WUTHERING HEIGHTS

Перевод с английского *Надежды Вольпин*

Художественное оформление серии
и иллюстрация на переплете *Н. Портняной*

Бронте, Эмили.

Б88 Грозовой перевал / Эмили Бронте ; [перевод с английского Н. Вольпин]. — Москва : Эксмо, 2022. — 384 с. — (Магистраль. Классика).

ISBN 978-5-04-118552-7

Роман-загадка «Грозовой перевал», опрокидывающий все привычные представления о добре и зле, любви и ненависти, — одно из самых уникальных произведений мировой литературы. Эмили Бронте была вынуждена опубликовать его за свой счет и под мужским псевдонимом. Пока одни рецензенты восхищались оригинальностью автора, другие пришли в ужас от того, что происходит на вересковых пустошах Йоркшира, где бушуют демонические страсти сильных личностей, не желающих идти на уступки друг другу, и разворачивается история роковой любви Хитклифа, приемного сына владельца отдаленного поместья, к Кэтрин, дочери своего хозяина. Общество того времени было поражено необычайной эмоциональной силой романа и потрясено смелостью моральных концепций. «Грозовой перевал» завораживает своей красотой даже современного читателя.

УДК 821.111-31
ББК 84(4Вел)-44

© Вольпин Н., перевод на русский язык. Наследники, 2022
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2022

ISBN 978-5-04-118552-7



ГЛАВА I

1801. Я только что вернулся от своего хозяина — единственного соседа, который будет мне здесь докучать. Место поистине прекрасное! Во всей Англии едва ли я сыскал бы уголок, так идеально удаленный от светской суеты. Совершенный рай для мизантропа! А мистер Хитклиф и я — оба мы прямо созданы для того, чтобы делить между собой уединение. Превосходный человек! Он и не представляет себе, какую теплоту я почувствовал в сердце, увидав, что его черные глаза так недоверчиво ушли под брови, когда я подъехал на коне, и что он с настороженной решимостью еще глубже засунул пальцы в жилет, когда я назвал свое имя.

— Мистер Хитклиф? — спросил я.

В ответ он молча кивнул.

— Мистер Локвуд, ваш новый жилец, сэр. Почел за честь тотчас же по приезде выразить вам свою надежду, что я не причинил вам беспокойства, так настойчиво добиваясь позволения поселиться на Мызе Скворцов: я слышал вчера, что у вас были некоторые колебания...

Его передернуло.

— Скворцы — моя собственность, сэр, — осадил он меня. — Никому не позволю причинять мне беспокойство, когда в моей власти помешать тому. Входите!

«Входите» было произнесено сквозь стиснутые зубы и прозвучало как «ступайте к черту»; да и створка ворот,

к которой он прислонился, не распахнулась в согласии с его словами. Думаю, это и склонило меня принять приглашение: я загорелся интересом к человеку, показавшемуся мне еще большим нелюдимо, чем я.

Когда он увидел, что моя лошадь честно идет грудью на барьер, он протянул наконец руку, чтобы скинуть цепь с ворот, и затем угрюмо зашагал передо мной по мощеной дороге, выкликнув, когда мы вступили во двор:

— Джозеф, прими коня у мистера Локвуда. Да принеси вина.

«Вот, значит, и вся прислуга, — подумалось мне, когда я услышал это двойное приказание. — Немудрено, что между плитами пробивается трава, а кусты живой изгороди подстригает только скот».

Джозеф оказался пожилым — нет, старым человеком, пожалуй, очень старым, хоть крепким и жилистым. «Помоги нам господа!» — проговорил он вполголоса со сварливым недовольством, пособляя мне спешиться; и хмурый взгляд, который он при этом кинул на меня, позволил милосердно предположить, что божественная помощь нужна ему, чтобы переварить обед, и что его благочестивый призыв никак не относится к моему неожиданному вторжению.

Грозовой Перевал — так именуется жилище мистера Хитклифа. Эпитет «грозовой» указывает на те атмосферные явления, от ярости которых дом, стоя на юру, нисколько не защищен в непогоду. Впрочем, здесь, на высоте, должно быть, и во всякое время изрядно прохватывает ветром. О силе норда, овевающего взгорье, можно судить по чрезмерному наклону малорослых елей подле дома и по чередо чахлого терновника, ветви которого тянутся все в одну сторону, словно выпрашивая милостыню у солнца. К счастью, архитектор был предусмотрителен и строил прочно: узкие окна ушли глубоко в стену, а углы защищены большими каменными выступами.

Прежде чем переступить порог, я остановился полюбоваться гротескными барельефами, которые ваятель разбросал, не скупясь, по фасаду, насажав их особенно щедро над главной дверью, где в хаотическом сплетении облезлых грифонов и бесстыжих мальчиков я разобрал дату «1500» и имя «Гэртон Эрншо». Мне хотелось высказать кое-какие замечания и потребовать у сердитого владельца некоторых исторических разъяснений, но он остановился в дверях с таким видом, будто настаивал, чтоб я скорей вошел или же вовсе удалился, а я отнюдь не желал бы вывести его из терпения раньше, чем увижу, каков дом внутри.

Одна ступенька ввела нас прямо — без прихожей, без коридора — в общую комнату: ее здесь и зовут домом. Дом по большей части служит одновременно кухней и столовой; но на Грозовом Перевале кухне, видно, пришлось отступить в другое помещение — по крайней мере, я различал гул голосов и лязг кухонной утвари где-то за стеной; и я не обнаружил в большом очаге никаких признаков, что здесь жарят, варят или пекут; ни блеска медных кастрюль и жестяных цедилок по стенам. Впрочем, в одном углу сиял жарким светом набор огромных оловянных блюд, которые, вперемешку с серебряными кувшинами и кубками, взобрались ряд за рядом по широким дубовым полкам под самую крышу. Никакого настила под крышей не было: вся ее анатомия была доступна любопытному глазу, кроме тех мест, где ее скрывало какое-то деревянное сооружение, заваленное овсяными лепешками и увешанное окороками — говяжьими, бараньими и свиными. Над камином примостилось несколько неисправных старых ружей разных образцов да пара седельных пистолетов; и в виде украшения по выступу его были расставлены три жестяные чайницы грубой раскраски. Пол был выложен гладким белым камнем; грубо сколоченные кресла с высокими спинками покрашены были в зеленое; да еще два или

три черных, потяжелее, прятались в тени. В углублении под полками лежала большая темно-рыжая легавая сука со сворой визгливых щенят; по другим закутам притаились другие собаки.

И комната и обстановка не показались бы необычными, принадлежи они простому фермеру-северянину с упрямым лицом и дюжими лодыжками, силу которых выгодно подчеркивают его короткие штаны и гетры. Здесь в любом доме на пять-шесть миль вокруг вы увидите такого хозяина в кресле за круглым столом, перед пенящейся кружкой эля, если зайдете как раз после обеда. Но мистер Хитклиф являет странный контраст своему жилью и обиходу. По внешности он — смуглолицый цыган, по одежде и манере — джентльмен, конечно, в той мере, в какой может назваться джентльменом иной деревенский сквайр; он, пожалуй, небрежен в одежде, но не кажется неряшливым, потому что отлично сложен и держится прямо. И он угрюм. Иные, возможно, заподозрят в нем некоторую долю чванства, не вяжущегося с хорошим воспитанием; но созвучная струна во мне самом подсказывает мне, что здесь скрывается нечто совсем другое: я знаю чутьем, что сдержанность мистера Хитклифа проистекает из его несклонности обнажать свои чувства или выказывать ответное тяготение. Он и любить и ненавидеть будет скрытно и почтет за дерзость, если его самого полюбят или возненавидят. Но нет, я хватил через край: я слишком щедро его наделяю своими собственными свойствами. Быть может, совсем иные причины побуждают моего хозяина прятать руку за спину, когда ему навязываются со знакомством, — вовсе не те, что движут мною. Позвольте мне надеяться, что душевный склад мой неповторим. Моя добрая матушка, бывало, говорила, что у меня никогда не будет семейного уюта. И не далее, как этим летом, я доказал, что недостоин его.

На взморье, где я проводил жаркий месяц, судьба свела меня с самым очаровательным созданием — с де-

вицей, которая была в моих глазах истинной богиней, пока не обращала на меня никакого внимания. Я «не позволял своей любви высказаться вслух»; однако, если взгляды могут говорить, и круглый дурак догадался бы, что я по уши влюблен. Она меня наконец поняла и стала бросать мне ответные взгляды — самые нежные, какие только можно вообразить. И как же я повел себя дальше? Признаюсь со стыдом: сделался ледяным и ушел в себя, как улитка в раковину; и с каждым взглядом я делался все холоднее, все больше сторонился, пока наконец бедная неискушенная девушка не перестала верить тому, что говорили ей собственные глаза, и, смущенная, подавленная своей воображаемой ошибкой, уговорила маменьку немедленно уехать. Этим странным поворотом в своих чувствах я стяжал славу расчетливой бессердечности — сколь незаслуженную, знал лишь я один.

Я сел с краю у очага, напротив того места, которое избрал для себя мой хозяин, и, пока длилось молчание, попытался приласкать суку, которая бросила своих щенят и стала по-волчьи подбираться сзади к моим икрам: губа у нее поползла кверху, обнажив готовые впиться белые зубы. На мою ласку последовало глухое протяжное рычанье.

— Оставьте лучше собаку, — пробурчал в тон мистер Хитклиф и дал собаке пинка, предотвращая более свирепый выпад. — К баловству не приучена — не для того держим. — Затем, шагнув к боковой двери, он кликнул еще раз: — Джозеф!

Джозеф невнятно что-то бормотал в глубине погреба, но, как видно, не спешил подняться; тогда хозяин сам прыгнул к нему, оставив меня с глазу на глаз с наглой сукой и двумя грозными косматыми волкодавами, которые с нею вместе настороженно следили за каждым моим движением. Я отнюдь не желал познакомиться ближе с их клыками и сидел тихо. Но, вообразив, что они едва ли поймут бессловесные оскорбления, я взду-

мал на беду подмигивать всем троим и корчить рожи, и одна из моих гримас так обидела даму, что та вдруг взъярилась и вскинула передние лапы мне на колени. Я ее отбросил и подвинул стол, спеша загородиться от нее. Этим я всполошил всю свору: полдюжины четвероногих дьяволов всех возрастов и размеров выползли из потайных своих логовищ на середину комнаты. Я почувствовал, что мои пятки и фалды кафтана стали объектом атаки; и, отбиваясь кое-как кочергой от самых крупных противников, был принужден громко призвать на помощь кого-либо из домашних для водворения мира.

Мистер Хитклиф и его слуга поднимались по ступенькам из погреба с возмутительным хладнокровием; не думаю, чтоб они поторопились явиться хоть на секунду быстрее, хотя возня и визг у очага разбушевались вихрем. К счастью, подоспела помощь из кухни: дюжая тетка с подоткнутым подолом, засученными рукавами и раскрасневшимся от огня лицом ринулась, размахивая сковородкой, в самую гущу боя: своим оружием, а также и языком она действовала так успешно, что буря, как по волшебству, улеглась, и только у воительницы еще вздымалась грудь, точно море после сильного ветра, когда на сцене появился наконец хозяин.

— Что за чертовщина? — спросил он и так на меня поглядел, что я едва сдержался, обозленный столь негостеприимным обращением.

— Чертовщина и есть, — проворчал я. — В стаде одержимых евангельских свиней злой дух едва ли был так силен, как в этих ваших собаках, сэръ. Оставить с ними гостя все равно что бросить его в тигриное логово!

— Они никогда не тронут человека, если он сам ничего не тронет, — заметил хозяин, ставя предо мною бутылку и водворяя на место сдвинутый стол. — Собакам положено быть настороже. Стакан вина?

— Нет, благодарю.

— Не покусали?

— Когда бы так, я отметил бы укусившего своей печатью.

Черты Хитклифа смягчились в усмешке.

— Ну-ну, — сказал он, — вы разволновались, мистер Локвуд. Выпейте стаканчик вина. Гости в этом доме такая редкость, что ни сам я, ни мои собаки, признаюсь, не умеем их принимать. За ваше здоровье, сэр!

Я поклонился и ответил «за ваше!» — сообразив, что было бы глупо сидеть и дуться на неучтивость собачьей своры. Да и не хотелось мне доставить хозяину лишний повод позабавиться на мой счет, если придет ему такая охота. Он же, уступая, вероятно, мудрому соображению, что неразумно оскорблять выгодного жильца, предпочел изменить своему лаконическому стилю — с пропуском личных местоимений и глагольных связок — и завел речь о предмете, который считал для меня занимательным: о достоинствах и недостатках избранного мною места уединения. Я нашел его очень сведущим в затронутом нами вопросе и перед тем, как уйти, решил по собственному почину объявить, что завтра зайду опять. Он, как видно, вовсе не желал вторичного вторжения. Тем не менее я приду. Удивительно, каким общительным кажусь я сам себе по сравнению с ним!

ГЛАВА II

Вчера к полудню стало холодно и сыро. Я уже почти решил, что лучше посидеть у камина в своем кабинете, чем брести по бездорожью, по слякоти на Грозовой Перевал. Однако, когда я, отобедав (кстати, замечу, я обедаю в первом часу; ключница, почтенная матрона, которую мне сдали вместе с домом, как его неотъемлемую принадлежность, не может или не хочет понять мою просьбу, чтобы обед подавали мне в пять), поднялся наверх в ленивом этом намеренье и хотел уже войти

в свою комнату, — я увидел горничную, которая, стоя на коленях среди щеток и корзин для угля, развела адский чад, стараясь загасить огонь кучей пепла. Это заставило меня тотчас повернуть назад; я взял шляпу и, отшагав четыре мили, подошел к воротам в сад Хитклифа как раз вовремя: падали уже первые перистые хлопья снега.

Здесь, на голой вершине холма, земля затвердела от ранних бесснежных морозов, и холодный ветер пронизывал меня насквозь. Сколько я ни напирал, цепь не подавалась, и я, перескочив через забор, пробежал мощеную дорожку, окаймленную редкими кустами крыжовника, и тщетно стучал в дверь, пока мне не свело пальцы и собаки не подняли вой.

«Проклятый дом, — сказал я мысленно. — Его обитатели так негостеприимны, такие невежи, что их стоило бы на всю жизнь засадить в одиночку. Я, во всяком случае, не стал бы днем держать дверь на запоре. Но все равно я войду!» С таким решением я взялся за щеколду и стал изо всей силы трясти дверь. Джозеф высунулся в круглое оконце сарая, показав свое кислое, как уксус, лицо.

— Чего вам? — закричал он. — Хозяин там, на овчарне. Пройдите кругом в конец двора, если у вас к нему дело.

— Есть кто-нибудь в доме, кто мог бы открыть дверь? — прокричал я в свой черед.

— Никого нет, одна хозяйка. А она не откроет, хоть бы вы тут до ночи грохотали.

— Почему? Вы, может быть, скажете ей, кто я такой, Джозеф?

— Ну уж нет! Не стану я путаться в это дело, — пробурчал он, и голова исчезла.

Снег падал густо. Я схватился за ручку двери в новой попытке, когда на заднем дворе показался молодой человек без пальто и с вилами на плече. Он прокричал мне, чтоб я следовал за ним, и, пройдя через прачечную и мощный двор с сараем для угля, водокачкой и голубятней,

мы наконец вошли в просторную, теплую и приветливую комнату, где меня принимали накануне. Ее весело озарял пылавший в очаге костер из угля, торфа и дров; а у стола, накрытого к обильному ужину, я с удовольствием увидел «хозяйку» — особу, о существовании которой я раньше и не подозревал. Я поклонился и ждал, полагая, что она предложит мне сесть. Она смотрела на меня, откинувшись на спинку кресла, и не двигалась, не говорила.

— Скверная погода! — сказал я. — Боюсь, миссис Хитклиф, не пострадала ли ваша дверь из-за нерадивости слуг: мне пришлось изрядно потрудиться, пока меня услышали.

Она и тут промолчала. Я глядел на нее, она глядела на меня — во всяком случае, остановила на мне холодный невидящий взгляд, от которого мне стало до крайности не по себе.

— Садитесь, — буркнул молодой человек. — Он скоро придет.

Я подчинился; кашлянул, окликнул негодницу Юону, которая соизволила при этом повторном свидании пошевелить кончиком хвоста, показывая, что признает во мне знакомого.

— Отличная собака! — я начал снова. — Не думаете ли вы раздать щенят, сударыня?

— Они не мои, — молвила любезная хозяйка таким отстраняющим тоном, каким не ответил бы и сам Хитклиф.

— Ага, вот это, верно, ваши любимцы? — продолжал я, указывая на кресло в темном углу, где, как мне показалось, сидели кошки.

— Станный предмет любви, — заметила она с презрением.

Там, как на грех, оказались сваленные в кучу битые кролики. Я еще раз кашлянул и, ближе подсев к очагу, повторил свое замечание о дурной погоде.

— Вам не следовало выходить из дому, — сказала она и, встав, сняла с камина две яркие жестянки.

До сих пор она сидела в полумраке; теперь же я мог разглядеть всю ее фигуру и лицо. Она была тоненькая и совсем юная, почти девочка — удивительного сложения и с таким прелестным личиком, какого мне еще не доводилось видеть: мелкие черты, необычайно изящные; льняные кольца волос, или скорей золотые, падали, несобранные, на стройную шею; а глаза, если бы глядели приветливей, были бы неотразимы; к счастью для моего впечатлительного сердца, я прочел в них только нечто похожее на презрение и вместе с тем на безнадежность, странно неестественную в ее возрасте. Чайницы стояли слишком высоко, она едва могла дотянуться до них; я сделал движение, чтобы ей помочь; она повернулась ко мне, как повернулся бы скупец, если бы кто-нибудь сунулся ему помогать, когда он считает свое золото.

— Мне не нужно вашей помощи, — огрызнулась она, — сама достану.

— Прошу извинения, — поспешил я ответить.

— Вас приглашали к чаю? — спросила она, повязывая фартук поверх милого черного платья, и остановилась с ложкой чая над котелком.

— Я не отказался бы от чашки, — ответил я.

— Вас приглашали? — повторила она.

— Нет, — сказал я с легкой улыбкой. — Вам как раз и подобало бы меня пригласить.

Она бросила ложку с чаем обратно в чайницу и с обиженным видом снова уселась; на лбу наметились морщины, румяная нижняя губа выпятилась, как у ребенка, который вот-вот заплачет.

Между тем молодой человек набросил на плечи совсем изношенный кафтан и, выпрямившись во весь рост перед огнем, глядел на меня искоса сверху вниз — ну, право же, точно была между нами кровная вражда, неотомщенная обида. Я не мог понять — слуга он или кто?

И одежда его и разговор были грубы и не выдавали, как у мистера и миссис Хитклиф, принадлежности к более высокому сословию; густые русые кудри его свисали лохматые, нечесанные щеки по-мужицки заросли бакенбардами, а руки были у него загорелые, как у простого работника; но держался он свободно, почти высокомерно, и не проявлял рвения слуги перед хозяйкой дома. Не видя явных признаков, по которым я мог бы судить, какое место занимает он в доме, я почел за лучшее не замечать его странного поведения; а через пять минут явился Хитклиф, и я почувствовал себя не так неловко.

— Как видите, сэр, я пришел, как обещал! — воскликнул я с напускной веселостью. — И боюсь, мне придется посидеть у вас полчаса, если вы предоставите мне на это время пристанище от непогоды.

— Полчаса? — сказал он, стяхивая белые хлопья со своей одежды. — Удивляюсь, почему вам вздумалось гулять в самый разгар бурана. Знаете ли вы, что рисковали заблудиться на болоте? Даже людям, хорошо знакомым с местностью, в такие вечера случается сбиться с дороги; а сейчас, доложу вам, нельзя рассчитывать на быструю перемену погоды.

— Не дадите ли вы мне в проводники какого-нибудь паренька? А заночевал бы он на Мызе. Вы не можете отпустить со мной кого-нибудь из работников?

— Не могу.

— Нет, в самом деле? Что ж, придется мне положиться на собственное разумение.

— Гм! Когда же мы наконец сядем чай пить? — крикнул он парню в потрепанном кафтане, бросавшему попеременно свирепый взгляд то на меня, то на молодую хозяйку.

— Он тоже будет пить? — спросила та, обратившись к Хитклифу.

— Извольте подавать на стол, — прозвучало в ответ, и так яростно, что меня передернуло. Тон, каким

сказаны были эти слова, избличал прирожденную злобность нрава. Теперь я уже не назвал бы Хитклифа превосходным человеком. Когда все было приготовлено, он пригласил меня к столу, сказав: «Ну, сэр, придвигайте ваш стул». Мы все, не исключая деревенского парня, сели за стол и в строгом молчании принялись за ужин.

Я полагал своим долгом, раз уж я навел тучу, как-нибудь ее рассеять. Не могли же они изо дня в день сидеть так угрюмо и молчаливо. Казалось немыслимым, чтобы люди, как ни дурен их нрав, могли изо дня в день сходиться за столом с такими сердитыми лицами.

— Странно, — начал я, жадно выпив первую чашку и ожидая, когда мне нальют вторую, — странно, до чего привычка меняет наши вкусы и понятия: иной человек даже и вообразить не в состоянии, что можно быть счастливым, живя в таком полном отрешении от мира, как живете вы, мистер Хитклиф. Да, я сказал бы, что вы, в кругу своей семьи, с вашей любезной леди, чей гений правит вашим домом и вашим сердцем...

— Моей любезной леди! — перебил он с усмешкой чуть не дьявольской. — Где она, моя любезная леди?

— Я имел в виду миссис Хитклиф, вашу супругу.

— О, превосходно! Вы хотели сказать, что ее дух взял на себя роль ангела-хранителя и оберегает благополучие Грозового Перевала теперь, когда ее тело покоится в земле! Не так ли?

Поняв, что оплошал, я попытался поправить промах. Мне бы следовало сообразить, что при такой разнице в возрасте эти двое едва ли были мужем и женой. Ему лет сорок, пора расцвета духовных сил, когда мужчина редко обольщается надеждой, что девушка пойдет за него по любви: эта мечта становится утехой наших преклонных лет. А той с виду семнадцать.

Тут меня осенило: верно, этот деревенщина, что сидит со мною рядом, прихлебывает чай из блюдца и берет

хлеб немытыми руками, — ее муж. Хитклиф-младший, конечно! Похоронили себя заживо, и вот последствия: девушка бросилась на шею этому мужлану, попросту не зная, что есть на свете люди получше! И жалко и грустно! Нетрудно понять, как сильно должна была она пожалеть о своем выборе, увидев меня! Эта мысль покажется, верно, самонадеянной, но нет, такую она не была. Мой сосед представлялся мне почти отталкивающим; о себе же я знал по опыту, что я довольно привлекателен.

— Миссис Хитклиф приходится мне невесткой, — сказал Хитклиф, подтверждая мою догадку. При этих словах он метнул странный взгляд в ее сторону — взгляд ненависти; или мышцы его лица устроены иначе, чем у всех людей, и не передают языка души.

— Разумеется, теперь я вижу. Это вы — счастливый обладатель благодетельницы-феи, — заметил я, поворачиваясь к своему соседу.

Ошибка оказалась хуже прежней: юноша побагровел, сжал кулак с явным намерением пустить его в ход. Но, видимо, одумался и отвел душу, разразившись грубой руганью по моему адресу — которую, однако, я предпочел пропустить мимо ушей.

— Не везет вам с догадками, сэр, — проговорил хозяин, — ни один из нас не имеет счастья обладать вашей доброй феей; ее супруг умер. Я сказал, что она моя невестка; значит, она была замужем за моим сыном.

— А этот молодой человек...

— Не сын мой, конечно.

Хитклиф опять улыбнулся, словно было слишком смелой шуткой — навязать этого медведя ему в сыновья.

— Меня зовут Гэртон Эрншо, — рявкнул юноша, — и советую вам уважать это имя!

— Я отнюдь не выказал неуважения, — сказал я в ответ, посмеявшись в душе над тем, с каким достоинством доложил он о своей особе.

Он глядел на меня слишком долго — я не счел нужным выдерживать его взгляд, боясь, что уступлю искушению отпустить ему пощечину или же громко рассмеяться. Я чувствовал себя решительно не на месте в этом милом семейном кругу. Гнетущая атмосфера дома сводила на нет доброе действие тепла и уюта, и я решил быть осторожней и не забредать под эту крышу в третий раз.

С ужином покончили, и, так как никто не проронил ни слова, чтоб завязать разговор, я встал и подошел к окну — посмотреть, не переменялась ли погода. Печальная была картина: темная ночь наступила до времени, смешав небо и холмы в ожесточенном кружении ветра и душащего снега.

— Вряд ли я доберусь до дому без проводника, — вырвалось у меня. — Дороги, верно, совсем замело; но даже если б они были расчищены, едва ли я хоть что-нибудь увидел бы на шаг впереди.

— Гэртон, загони овец под навес. Их засыплет, если оставить их на всю ночь в овчарне. А выход загороди доской, — сказал Хитклиф.

— Как же мне быть? — продолжал я с нарастающим раздражением.

Ответа не последовало; и я, оглядевшись, увидел только Джозефа, несшего собакам ведро овсянки, и миссис Хитклиф, которая склонилась над огнем и развлекалась тем, что жгла спички из коробка, упавшего с камина, когда она водворяла на место чайницу. Джозеф, поставив свою ношу, обвел осуждающим взглядом комнату и надтреснутым голосом проскрипел:

— Диву даюсь, что вы себе воображаете: вы будете тут сидеть без дела или баловаться, когда все работают на дворе! Но вы праздны, как все бездельники, вам говори, не говори, вы никогда не отстанете от дурных обычаев и пойдете прямой дорогой к дьяволу, как пошла ваша мать!

Я подумал было, что этот образчик красноречия адресован ко мне; и, достаточно уже взбешенный, двинулся на старого негодника с намереньем вышвырнуть его за дверь. Но ответ миссис Хитклиф остановил меня.

— Ты, старый лицемер и клеветник! — вскинулась она. — А не боишься ты, что всякий раз, как ты поминаешь дьявола, он может утащить тебя живьем. Ты лучше меня не раздражай, старик, или я испрошу для тебя его особой милости, и он заберет тебя к себе. Стой! Глянь сюда, Джозеф, — продолжала она, доставая с полки узкую продолговатую книгу в темном переплете, — я покажу тебе, как я далеко продвинулась в черной магии: скоро я буду в ней, как дома. Не случайно околела красно-бурая корова. И приступы ревматизма едва ли посылаются тебе, как дар божий!

— Ох, грешница, грешница! — закричал старик. — Избави нас господь от лукавого!

— Нет, нечестивец! Ты — отверженный! Отыди, или я наведу на тебя порчу! Я на каждого из вас сделала слепки из воска и глины. Первый, кто преступит наметенную мною границу, будет... нет, я не скажу, на что он у меня осужден, это вы увидите сами! Иди прочь — я на тебя гляжу!

Красивые глаза маленькой ведьмы засверкали приторной злобой, и Джозеф, затрепетав в неподдельном ужасе, поспешил прочь, бормоча на ходу молитвы и выкрикивая: «Грешница, грешница!» Я думал, что ее поведение было своего рода мрачной забавой; и теперь, когда мы остались вдвоем, попробовал поискать у нее сочувствия в моей беде.

— Миссис Хитклиф, — начал я серьезно, — извините, что я вас тревожу. Я беру на себя эту смелость, так как уверен, что при такой наружности вы непременно должны обладать добрым сердцем. Укажите же мне, по каким приметам я найду дорогу. Как мне добраться до

дому, я представляю себе не яснее, чем вы, как дойти до Лондона!

— Ступайте той дорогой, которой пришли, — ответила она, спрятавшись в своем кресле со свечою и с раскрытой толстой книгой на коленях. — Совет короткий, но более разумного я вам дать не могу.

— Значит, если вы услышите, что меня нашли мертвым в трясине или в яме, занесенной снегом, ваша совесть не шепнет вам, что в моей смерти повинны отчасти и вы?

— Ничуть. Я не могу проводить вас. Мне не дадут пройти и до конца ограды.

— Вы? Я не посмел бы вас просить выйти ради меня даже за порог в такую ночь! — вскричал я. — Я прошу вас разъяснить мне, как найти дорогу, а не показать ее; или же убедить мистера Хитклифа, чтоб он дал мне кого-нибудь в проводники.

— Кого? Здесь только он сам, Эрншо, Зилла, Джозеф и я. Кого вы предпочтете?

— А нет на ферме какого-нибудь мальчишки?

— Нет. Я всех назвала.

— Значит, я вынужден заночевать здесь.

— Об этом договаривайтесь с хозяином дома. Я тут ни при чем.

— Надеюсь, это вам послужит уроком. Не будете впредь пускаться в неосторожные прогулки по горам, — прокричал строгий голос Хитклифа с порога кухни. — Если вам тут ночевать, так у меня не заведено никаких удобств для гостей. Вам придется разделить постель с Гэртоном или Джозефом, если вы остаетесь.

— Я могу соснуть в кресле в этой комнате, — ответил я.

— Нет, нет! Чужой всегда чужой, беден он или богат, и меня не устраивает, чтобы кто-то тут рыскал, когда я не могу оставаться за сторожа! — заявил неучтивый хозяин.

Эти оскорбительные слова положили конец моему терпению. Я что-то сказал, выражая свое возмущение, бросился мимо хозяина во двор — и с разгону налетел на Эрншо. Было так темно, что я ничего не видел; и пока я блуждал, ища выхода, я услышал кое-что еще, что могло служить образцом их вежливого обращения друг с другом. Сперва молодой человек, по-видимому, склонен был помочь мне.

— Я провожу его до парка, — сказал он.

— Ты проводишь его до пекла! — вскричал его хозяин или кем он там ему был. — А кто присмотрит за лошадьми?

— Когда дело идет о человеческой жизни, можно ради нее на один вечер оставить лошадей без присмотра: кто-нибудь должен пойти, — вступилась миссис Хитклиф дружелюбней, чем я ожидал.

— Но не по вашему приказу! — отрезал Гэртон. — Если он вам так мил, лучше помалкивайте.

— Что же, я надеюсь, вам будет являться его призрак. И еще я надеюсь, мистер Хитклиф не получит другого жильца, пока Мыза Скворцов не превратится в развалины! — ответила она резко.

— Слушай, слушай, она проклинает! — бормотал Джозеф, о которого я чуть не споткнулся.

Старик сидел неподалеку и доил коров при свете фонаря, который я не постеснялся схватить; и, крикнув, что завтра пришлю им фонарь, я устремился к ближайшей калитке.

— Хозяин, хозяин! Он украл фонарь! — заорал старик и кинулся за мной вдогонку. — Эй, Клык, собачка моя! Эй, Волк! Держи его, держи!

Едва я отворил калитку, два косматых чудища зашелкали зубами, подбираясь к моему горлу, и сбили меня с ног — свет погас, а дружный хохот Хитклифа и Гэртона довел до предела бешенство мое и унижение. К счастью, псы больше склонны были, наложив свои

лапы на жертву, выть и махать хвостами, чем пожирать ее живьем; однако встать на ноги они мне не давали, и пришлось мне лежать до тех пор, пока их злорадствующие хозяева не соизволили меня освободить. Наконец, без шляпы, дрожа от ярости, я приказал мерзавцам выпустить меня немедленно, если им не надоела жизнь, — и сопроводил эти слова бессвязными угрозами, которые своею беспредельной злобой и горечью напоминали проклятия Лира.

От слишком сильного возбуждения у меня хлынула из носу кровь, но Хитклиф не переставал хохотать, а я ругаться. Не знаю, чем завершилась бы эта сцена, не случись тут особы, более рассудительной, чем я, и более благодушной, чем мои противники. Это была Зилла, до-родная ключница, которая вышла наконец узнать, что там у нас творится. Она подумала, что кто-то поднял на меня руку; и, не смея напасть на хозяина, обратила огонь своей словесной артиллерии на младшего из двух негодяев.

— Прекрасно, мистер Эрншо! — кричала она. — Уж не знаю, что вы еще придумаете! Скоро мы станем убивать людей у нашего порога. Вижу я, не ужиться мне в этом доме — посмотрите на беднягу, он же еле дышит! Ну-ну! Нельзя вам идти в таком виде. Зайдите в дом, я помогу вам. Тихонько, стойте смирно.

С этими словами она вдруг выплеснула мне за ворот кружку ледяной воды и потащила меня в кухню. Мистер Хитклиф последовал за нами. Непривычная вспышка веселости быстро угасла, сменившись обычной для него угрюмостью.

Меня мутило, кружилась голова, я совсем ослабел, пришлось поневоле согласиться провести ночь под его крышей. Он велел Зилле дать мне стакан водки и прошел в комнаты; а ключница, повздыхав надо мной и выполнив приказ, после чего я несколько оживился, повела меня спать.

ГЛАВА III

Подымаясь со мной по лестнице, она мне наказала прикрыть ладонью свечу и не шуметь, потому что у ее хозяина какая-то дикая причуда насчет комнаты, в которую она меня ведет, и он никого бы туда не пустил по своей охоте. Я спросил почему. Она ответила, что не знает: в доме она только второй год, а у них тут так все не по-людски, что лучше ей не приставать с расспросами.

Слишком ошеломленный для расспросов, я запер дверь и огляделся, ища кровать. Всю обстановку составляли стул, комод и большой дубовый ларь с квадратными прорезями под самой крышкой, похожими на оконца кареты. Подойдя к этому сооружению, я заглянул внутрь и увидел, что это особого вида старинное ложе, как нельзя более приспособленное к тому, чтобы устранить необходимость отдельной комнаты для каждого члена семьи. В самом деле, оно образовало своего рода чуланчик, а подоконник заключенного в нем большого окна мог служить столом. Я раздвинул обшитые панелями боковые стенки, вошел со свечой, снова задвинул их и почувствовал себя надежно укрытым от бдительности Хитклифа или чьей бы то ни было еще.

На подоконнике, где я установил свечу, лежала в одном углу стопка тронутых плесенью книг; и весь он был покрыт надписями, нацарапанными по краске. Впрочем, эти надписи, сделанные то крупными, то мелкими буквами, сводились к повторению одного лишь имени: Кэтрин Эрншо, иногда сменявшегося на Кэтрин Хитклиф и затем на Кэтрин Линтон.

В вялом равнодушии я прижался лбом к окну и все перечитывал и перечитывал: Кэтрин Эрншо... Хитклиф... Линтон, — пока глаза мои не сомкнулись; но они не отдохнули и пяти минут, когда вспышкой пламени выступили из мрака белые буквы, живые, как ви-

дения, — воздух кишел бесчисленными Кэтрин; и, сам себя разбудив, чтоб отогнать навязчивое имя, я увидел, что огонь моей свечи лижет одну из тех старых книг и в воздухе разлился запах жженой телячьей кожи. Я оправил фитиль и, чувствуя себя крайне неприятно от холода и неотступной тошноты, сел в подушках и раскрыл на коленях поврежденный том. Это было Евангелие с поблекшей печатью и сильно отдававшее плесенью. На титульном листе стояла надпись: «Из книг Кэтрин Эрншо» — и число, указывавшее на четверть века назад. Я захлопнул ее и взял другую книгу и третью — пока не пересмотрел их все до единой. Библиотека Кэтрин была со вкусом подобрана, а потрепанное состояние книг доказывало, что ими изрядно пользовались, хотя и не совсем по прямому назначению: едва ли хоть одна глава избежала чернильных и карандашных заметок или того, что походило на заметки, покрывавшие каждый пробел, оставленный наборщиком. Иные представляли собою отрывочные замечания; другие принимали форму регулярного дневника, писанного неустановившимся детским почерком. Сверху на одной из пустых страниц (показавшихся, верно, неоценимым сокровищем, когда на нее натолкнулись впервые) я не без удовольствия увидел превосходную карикатуру на моего друга Джозефа — набросанную бегло, но выразительно. Во мне зажегся живой интерес к неведомой Кэтрин, и я тут же начал расшифровывать ее поблекшие иероглифы.

«Страшное воскресенье! — так начинался следующий параграф. — Как бы я хотела, чтобы снова был со мной отец. Хиндли — плохая замена, он жесток с Хитклифом. Мы с Х. договорились взбунтоваться — и сегодня вечером сделали решительный шаг.

Весь день лило; мы не могли пойти в церковь, так что Джозефу волей-неволей пришлось устроить молитвенное собрание на чердаке; и пока Хиндли с женой в свое удовольствие грелись внизу у огня — и делали при этом

что угодно, только не читали Библию, могу в том поручиться, — нам с Хитклифом и несчастному мальчишке-пахарю велено было взять молитвенники и лезть наверх; нас посадили рядом на мешке пшеницы, и мы вздыхали и мерзли, надеясь, что Джозеф тоже замерзнет и ради собственного блага прочтет нам не слишком длинную проповедь. Пустая надежда! Служба тянулась ровно три часа; и все-таки мой брат не постыдился воскликнуть, когда мы сошли вниз: «Как, уже?» Прежде в воскресные вечера нам разрешалось поиграть — только бы мы не очень шумели; а теперь достаточно тихонько засмеяться, и нас сейчас же ставят в угол!

— Вы забываете, что над вами есть хозяин, — говорит наш тиран. — Я сотру в порошок первого, кто выведет меня из терпения! Я требую тишины и приличия. Эге, мальчик, это ты? Фрэнсиз, голубушка, оттакай его за вихры, когда будешь проходить мимо: я слышал, как он хрустнул пальцами. — Фрэнсиз добросовестно выдрала его за волосы, а потом подошла к мужу и села к нему на колени; и они целый час, как двое малых ребят, целовались и говорили всякий вздор — нам было бы стыдно так глупо болтать. Мы устроились поудобней, насколько это было возможно: забились в углубление под полками. Только я успела связать наши фартуки и повесить их вместо занавески, как приходит Джозеф из конюшни, куда его зачем-то посылали. Он сорвал мою занавеску, влепил мне пощечину и закаркал:

— Хозяина едва похоронили, еще не прошел день субботный, и слова Евангелия еще звучат в ваших ушах, а вы тут лоботрясничаете! Стыдно вам! Садитесь, скверные дети! Мало тут разве хороших книг? Взяли бы да почитали! Садитесь и подумайте о ваших душах!

С этими словами он усадил нас немного поближе к очагу, так что слабый отсвет огня еле освещал страницу той дряни, которую он сунул нам в руки. Я не могла долго сидеть за таким занятием: взяла свой пакостный

том за застежку и кинула его в собачий закут, заявив, что мне не нравятся хорошие книги. Хитклиф пинком зашвырнул свою туда же. И тут пошло...

— Мистер Хиндли! — вопил наш духовный наставник. — Идите сюда, хозяин! Мисс Кэти отодрала корешок у «Кормила спасения», а Хитклиф ступил ногой на первую часть «Прямого пути к погибели»! Это просто ужас, что вы позволяете им идти такой дорожкой. Эх! Старый хозяин отстегал бы их как следует — но его уж нет!

Хиндли покинул свой рай у камина и, схватив нас одного за шиворот, другого за руку, вытолкал обоих в кухню, где Джозеф поклялся, что «Старый Ник»¹, как бог свят, уволочет нас в пекло. С таким утешительным напутствием мы забились каждый в свой угол, ожидая, когда явится за нами черт. Я достала с полки эту книгу и чернильницу, распахнула дверь во двор (так светлей) и минут двадцать писала, чтобы как-нибудь убить время; но мой товарищ не так терпелив и предлагает завладеть салопом коровницы, накрыться им и пойти бродить по вересковым зарослям. Хорошая мысль: если старый ворчун вернется, он подумает, что сбылось его прорицание, а нам и под дождем будет не хуже, чем дома: здесь тоже и холодно и сыро».

* * *

По всей видимости, Кэтрин исполнила свое намерение, потому что следующие строки повествуют о другом: девочка раздражается слезами.

«Не думала я, что Хиндли когда-нибудь заставит меня так плакать, — писала она. — Голова до того болит, что я не в силах держать ее на подушке; и все-таки не могу я отступить. Бедный Хитклиф! Хиндли называет его бродягой и больше не позволяет ему сидеть

¹ Черт, домовый.

с нами и с нами есть; и он говорит, что я не должна с ним играть, и грозитя выкинуть его из дому, если мы слушаемся. Он все время ругает нашего отца (как он смеет!), что тот давал Хитклифу слишком много воли, и клянется, что «поставит мальчишку на место».

* * *

Я подремывал над выцветшей страницей; глаза мои скользили с рукописного текста на печатный. Я видел красный витиеватый титул — «Седмидесятью Семь и Первое из Седмидесяти Первых. — Благочестивое слово, произнесенное преподобным Джебсом Брендерхэмом в Гиммерденской церкви». И, в полусне ломая голову над вопросом, как разовьет Джебс Брендерхэм свою тему, я откинулся на подушки и заснул. Увы, вот оно действие скверного чая и скверного расположения духа! Если не они, то что же еще могло так испортить мне ночь? С тех пор как я научился страдать, не припомню я ночи, которая сравнилась бы с этой.

Я еще не забыл, где я, когда мне уже начал сниться сон. Мне казалось, что настало утро и что я иду домой, а проводником со мной — Джозеф; снег на дороге лежит в ярд толщиной; и пока мы пробираемся кое-как вперед, мой спутник донимает меня упреками, что я не позаботился взять с собою посох пилигрима: без посоха, говорит он, я никогда не войду в дом; а сам кичливо размахивает дубинкой с тяжелым набалдашником, которая, как я понимал, именуется посохом пилигрима. Минутами мне представлялось нелепым, что мне необходимо такое оружие, чтобы попасть в собственное жилище. И тогда явилась у меня новая мысль: я иду вовсе не домой, мы пустились в путь, чтобы послушать проповедь знаменитого Джебса Брендерхэма на текст «Седмидесятью Семь», и кто-то из нас — не то Джозеф, не то проповедник, не то я сам — совершил «Первое из

Седмидесяти Первых» и подлежит всенародному осуждению и отлучению.

Мы приходим в церковь. Я в самом деле два или три раза проходил мимо нее в своих прогулках: она стоит в ложбине между двумя холмами, идущей вверх от болота, торфяная сырость которого действует, говорят, как средство бальзамирования на те немногие трупы, что зарыты на погосте. Крыша пока в сохранности; но так как викарий может рассчитывать здесь только на двадцать фунтов жалованья *per annum*¹ и на домик в две комнаты, которые грозят быстро превратиться в одну, никто из духовных лиц не желает взять на себя в этой глуши обязанности пастыря, тем более что его прихожане, если верить молве, скорее дадут своему священнику помереть с голоду, чем увеличат его доходы хоть на пенни из собственных карманов. Однако в моем сне церковь была битком набита, и слушали Джебса внимательно; а проповедовал он — о боже, что за проповедь! Она подразделялась на четыреста девяносто частей, из которых каждая была никак не меньше обычного обращения с церковной кафедрой, и в каждой обсуждался особый грех! Где он их столько выискал, не могу сказать. Он придерживался своего собственного толкования слова «грех», и казалось, брат во Христе по каждому отдельному случаю необходимо должен был совершать специальный грех. Грехи были самого необычного свойства: странные провинности, каких я раньше никогда бы не измыслил.

О, как я устал! Как я морщился и зевал, клевал носом и снова приходил в себя! Я щипал себя, и колол, и протирал глаза, и вставал со скамьи, и опять садился, и подталкивал Джозефа локтем, спрашивая, кончится ли когда-нибудь эта проповедь. Я был осужден выслушать все; наконец проповедник добрался до «Первого из

¹ В год (*лат.*).

Седмидесяти Первых». В этот критический момент на меня вдруг нашло наитие; меня подмывало встать и объявить Джебса Брендерхэма виновным в таком грехе, какого не обязан прощать ни один христианин.

— Сэр! — воскликнул я. — Сидя здесь в четырех стенах, я в один присест претерпел и простил четыреста девяносто глав вашей речи. Седмидесять семь раз я надевал шляпу и вставал, чтоб уйти, — вы седмидесятью семь раз почему-то заставляли меня сесть на место. Четыреста девяносто первая глава — это уж слишком! Сомученики мои, воздайте ему! Тащите его с кафедры и сотрите его в прах, чтобы там, где его знавали, забыли о нем навсегда.

— Так это ты! — воскликнул Джебс и, упершись в свою подушку, выдержал торжественную паузу. — Седмидесятью семь раз ты искажал зевотой лицо — седмидесятью семь раз я успокаивал свою совесть: «Увы, сие есть слабость человеческая, следственно, сие прегрешение может быть отпущено!» Но приходит Первое из Седмидесяти Первых. Вершите над ним, братья, предписанный суд! Чести сей удостоены все праведники божьи!

Едва раздалась эти последние слова, собравшиеся, вознеся свои пилигримовы посохи, ринулись на меня со всех сторон; и я, не имея оружия, которое мог бы поднять в свою защиту, стал вырывать посох у Джозефа, ближайшего ко мне и самого свирепого из нападающих. В возникшей суতোлке скрестилось несколько дубинок. Удары, предназначенные мне, обрушивались на другие головы. И вот по всей церкви пошел гул ударов. Кто напал, кто защищался, но каждый поднял руку на соседа; а Брендерхэм, не пожелав оставаться праздным свидетелем, изливал свое рвение стуком по деревянному пюпитру, раздававшимся так гулко, что этот стук в конце концов, к моему несказанному облегчению, разбудил меня. И чем же был внушен мой сон о шумной схватке? Кто на деле исполнял роль, разыгранную в драке Джеб-

сом? Всего лишь ветка ели, касавшаяся окна и при порывах ветра царапавшая сухими шишками по стеклу! С минуту я недоверчиво прислушивался, но, обнаружив возмутителя тишины, повернулся на другой бок, задремал — и опять мне приснился сон, еще более неприятный, чем тот, если это возможно.

На этот раз я сознавал, что лежу в дубовом ящике или чулане, и отчетливо слышал бурные порывы ветра и свист метели; я слышал также неумолкавший назойливый скрип еловой ветки по стеклу и приписывал его действительной причине. Но скрип так докучал мне, что я решил прекратить его, если удастся; и я, мне снилось, встал и попробовал открыть окно. Крючок оказался припаян к кольцу: это я заметил, когда еще не спал, но потом забыл. «Все равно, я должен положить этому конец», — пробурчал я и, выдавив кулаком стекло, высунул руку, чтобы схватить нахальную ветвь; вместо нее мои пальцы сжались на пальчиках маленькой холодной, как лед, руки! Неистовый ужас кошмара нахлынул на меня; я пытался вытащить руку обратно, но пальчики вцепились в нее, и полный горчайшей печали голос рыдал: «Впустите меня... впусти-те!» — «Кто вы?» — спрашивал я, а сам между тем все силился освободиться. «Кэтрин Линтон, — трепетало в ответ (почему мне подумалось именно «Линтон»? Я двадцать раз прочитал «Эрншо» на каждое «Линтон!»). — Я пришла домой: я заблудилась в зарослях вереска!» Я слушал, смутно различая глядевшее в окошко детское личико. Страх сделал меня жестоким; и, убедившись в бесполезности попыток отшвырнуть незнакомку, я притянул кисть ее руки к пробойне в окне и тер ее о край разбитого стекла, пока не потекла кровь, заливая простыни; но гостья все стояла: «Впустите меня!» — и держалась все так же цепко, а я сходил с ума от страха. «Как мне вас впустить? — сказал я наконец. — Отпустите вы меня, если хотите, чтобы я вас выпустил!» Пальцы разжались, я выдернул свои в пробоину и, быстро загородив ее стопкой книг, зажал

уши, чтоб не слышать жалобного голоса просительницы. Я держал их зажатыми, верно, с четверть часа, и все же, как только я отнял ладони от ушей, послышался тот же плачущий зов! «Прочь! — закричал я. — Я вас не впущу, хотя бы вы тут просились двадцать лет!» — «Двадцать лет прошло, — стонал голос, — двадцать лет! Двадцать лет я скитаюсь, бездомная!» Затем послышалось легкое царапанье по стеклу, и стопка книг подалась, словно ее толкали снаружи. Я попытался вскочить, но не мог пошевелиться; и тут я громко закричал, обезумев от ужаса. К своему смущению, я понял, что крикнул не только во сне: торопливые шаги приближались к моей комнате; кто-то сильной рукой распахнул дверь, и в оконцах над изголовьем кровати замерцал свет. Я сидел, все еще дрожа, и отирал испарину со лба. Вошедший, видимо, колебался и что-то ворчал про себя. Наконец полусшепотом, явно не ожидая ответа, он сказал:

— Здесь кто-нибудь есть?

Я почел за лучшее не скрывать своего присутствия, потому что я знал повадки Хитклифа и побоялся, что он станет продолжать поиски, если я промолчу. С этим намерением я повернул шпингалет и раздвинул фанерную стенку. Не скоро я забуду, какое действие произвел мой поступок.

Хитклиф стоял у порога в рубашке и панталонах; свеча оплывала ему на пальцы, а его лицо было бело, как стена за его спиной. При первом скрипе дубовых досок его передернуло, как от электрического тока; свеча, выскользнув из его руки, упала в нескольких футах, и так сильно было его волнение, что он едва смог поднять.

— Здесь только ваш гость, сэр! — вскричал я громко, желая избавить его от дальнейших унижительных проявлений трусости. — Я имел несчастье застонать во сне из-за страшного кошмара. Извините, я потревожил вас.

— Ох, проклятье на вашу голову, мистер Локвуд! Провалитесь вы к... — начал мой хозяин, устанавливая

свечу на стуле, потому что не мог держать ее крепко в руке. — А кто привел вас в эту комнату? — продолжал он, вонзая ногти в ладони и стиснув зубы, чтобы они не стучали в судороге. — Кто? Я сейчас же вышвырну их за порог!

— Меня привела сюда ваша ключница Зилла, — ответил я, вскочив на ноги и поспешно одеваясь. — И я не огорчусь, если вы ее и впрямь вышвырнете, мистер Хитклиф: это будет ей по заслугам. Она, видно, хотела, не щадя гостя, получить лишнее доказательство, что тут нечисто. Что ж, так оно и есть — комната кишит привидениями и чертями! Вы правы, что держите ее на запоре, уверяю вас. Никто вас не поблагодарит за ночлег в таком логове!

— Что вы хотите сказать? — спросил Хитклиф. — И зачем вы одеваетесь? Ложитесь и спите до утра, раз уж вы здесь. Но ради всего святого, не поднимайте опять такого страшного шума: вы кричали так, точно вам приставили к горлу нож!

— Если бы маленькая чертовка влезла в окно, она, верно, задушила бы меня! — возразил я. — Мне совсем не хочется снова подвергаться преследованию со стороны ваших гостеприимных предков. Не родственник ли вам с материнской стороны преподобный Джебс Брендерхэм? А эта проказница Кэтрин Линтон, или Эрншо, или как ее там звали, она, верно, из породы злых эльфов, эта маленькая злючка... Она сказала мне, что вот уже двадцать лет гуляет по земле — справедливая кара за ее грехи, не сомневаюсь!

Я не успел договорить, как вспомнил связь этих двух имен, Хитклифа и Кэтрин, в книге, — связь, которая ускользнула у меня из памяти и только теперь неожиданно всплыла. Я покраснел, устыдившись своей несообразности, но, ничем не показывая больше, что осознал нанесенную мною обиду, поспешил добавить:

— По правде сказать, сэ, половину ночи я провел...

Тут я опять осекся — я чуть не сказал: «провел, перелистывая старые книги», — а этим я выдал бы свое знакомство не только с печатным, но и рукописным их содержанием; итак, не допуская новой оплошности, я добавил:

— ...перечитывая имена, нацарапанные на подоконнике. Однообразное занятие, к которому прибегаешь, чтобы нагнать сон, — как к счету или как...

— С чего вы вздумали вдруг говорить все это мне? — прогремел Хитклиф в дикой ярости. — Как... как вы смеете под моею крышей?.. Господи! Уж не сошел ли он с ума, что так говорит! — И Хитклиф в бешенстве ударил себя по лбу.

Я не знал, оскорбиться мне на его слова или продолжать свое объяснение; но он, казалось, был так глубоко потрясен, что я сжалился и стал рассказывать дальше свои сны. Я утверждал, что никогда до тех пор не слышал имени «Кэтрин Линтон»; но, прочитанное много раз, оно запечатлелось в уме, а потом, когда я утратил власть над своим воображением, воплотилось в образ. Хитклиф, пока я говорил, постепенно отодвигался в глубь кровати; под конец он сидел почти скрытый от глаз. Я угадывал, однако, по его неровному, прерывистому дыханию, что он силится превозмочь чрезмерное волнение. Не желая показывать ему, что слышу, как он борется с собой, я довольно шумно завершал свой туалет, поглядывал на часы и вслух рассуждал сам с собою о том, как долго тянется ночь.

— Еще нет и трех! А я поклялся бы, что не меньше шести. Время здесь точно стоит на месте: ведь мы разошлись по спальням часов в восемь?

— Зимой ложимся всегда в девять, встаем в четыре, — сказал хозяин, подавляя стон и, как мне показалось по движению тени от его руки, смахивая слезы с глаз. — Мистер Локвуд, — добавил он, — вы можете перейти в мою спальню; вы только наделаете хлопот, если так

рано сойдете вниз, а ваш дурацкий крик прогнал к черту мой сон.

— Мой тоже, — возразил я. — Лучше я погуляю во дворе до рассвета, а там уйду, и вам нечего опасаться моего нового вторжения. Я теперь вполне излечился от стремления искать удовольствия в обществе, будь то в городе или в деревне. Разумный человек должен довольствоваться тем обществом, которое являет он сам.

— Восхитительное общество! — проворчал Хитклиф. — Возьмите свечку и ступайте, куда вам угодно. Я сейчас же к вам присоединюсь. Впрочем, во двор не ходите, собаки спущены; а в доме держит стражу Юнона, так что... вы можете только слоняться по лестнице да по коридорам. Но все равно убирайтесь! Я приду через две минуты!

Я подчинился, но лишь наполовину — то есть оставил комнату; потом, не зная, куда ведут узкие сени, я остановился и стал невольным свидетелем поступка, который выдал суеверие моего хозяина, странно противоречившее его очевидному здравому смыслу: мистер Хитклиф подошел к кровати и раздвинул загородки, разразившись при этом неудержимыми страстными словами. «Приди! Приди! — рыдал он. — Кэти, приди! О, приди — еще хоть раз! Дорогая, любимая! Хоть сегодня, Кэтрин, услышь меня!» Призрак проявил обычное для призраков своеобразие: он не подал никаких признаков бытия; только снег и ветер ворвались бешеной закрутью, долетев до меня и задув свечу.

Такая тоска была в порыве горя, сопровождавшем этот бред, что сочувствие заставило меня простить его безрассудство, и я удалился, досадуя на то, что вообще позволил себе слушать, и в то же время виня себя, что рассказал про свой нелепый кошмар и этим вызвал такое терзание; впрочем, причина оставалась для меня непонятной. Я осторожно сошел в нижний этаж и пробрался в кухню, где сгреб в кучу тлеющие угли и зажег

от них свою свечу. Ничто не шевелилось; только полосатая серая кошка выползла из золы и поздоровалась со мною сварливым «мяу».

Две полукруглые скамьи со спинками почти совсем отгораживали собою очаг; на одной из них я вытянулся сам, кошка забралась на другую. Мы оба дремали, пока никто не нарушал нашего уединения; потом приволокся Джозеф, спустившись по деревянной лестнице, которая исчезала за люком в потолке; лазейка на его чердак — решил я. Он бросил мрачный взгляд на слабый огонек, вызванный мною к жизни в очаге, согнал кошку со скамьи и, расположившись на освободившемся месте, приступил к процедуре набивания табаком своей трехдюймовой трубки. Мое присутствие в его святилище расценивалось, очевидно, как проявление наглости, слишком неприличной, чтоб ее замечать; он молча взял трубку в рот, скрестил руки на груди и затянулся. Я не мешал ему курить в свое удовольствие; выпустив последний клуб дыма и глубоко вздохнув, он встал и удалился так же торжественно, как вошел.

Послышались более упругие шаги; и я уже открыл рот, чтобы сказать «С добрым утром», но тут же закрыл его снова, так и не поздоровавшись: Гэртон Эрншо совершал *sotto voce*¹ свое утреннее молебствие, состоявшее в том, что он посылал к черту каждую вещь, попадавшую ему под руку, пока он шарил в углу, отыскивая лопату или заступ, чтоб расчистить заметенную дорогу. Он глядел через спинку скамьи, раздувая ноздри и столь же мало помышляя об обмене любезностями со мной, как с моею соседкой, кошкой. По его сборам я понял, что можно выйти из дому, и, покинув свое жесткое ложе, собрался последовать за парнем. Он это заметил и указал концом лопаты на дверь в столовую, давая понять нечленораздельными звуками, в какую сторону должен я идти, раз уж вздумал переменить место.

¹ Вполголоса (*um.*).

Я отворил дверь в дом, где уже суетились женщины: Зилла могучим дыханием раздувала огонь в печи; миссис Хитклиф, стоя на коленях перед огнем, при свете пламени читала книгу. Она ладонью защитила глаза от печного жара и, казалось, вся ушла в чтение, отрываясь от него только затем, чтобы выругать служанку, когда та ее осыпала искрами, или отпихнуть время от времени собаку, слишком дерзко совавшую ей в лицо свой нос. Я удивился, застав здесь также и Хитклифа. Он стоял у огня спиной ко мне, только что закончив бурную отповедь бедной Зилле, которая то и дело отрывалась от своей работы, хватаясь за уголок передника и испуская негодующий стон.

— А ты, ты, негодная... — разразился он по адресу невестки, когда я входил, и добавил слово, не более обидное, чем «козочка» или «овечка», но обычно обозначаемое многоточием. — Опять ты взялась за свои фокусы? Все в доме хоть зарабатывают свой хлеб — ты у меня живешь из милости! Оставь свое вздорное занятие и найди себе какое-нибудь дело. Ты у меня будешь платить за пытку вечно видеть тебя перед глазами — слышишь ты, шельма проклятая!

— Я оставлю свое занятие, потому что, если я откажусь, вы можете меня принудить, — ответила молодая женщина, закрыв свою книгу и швырнув ее в кресло. — Но я ничего не стану делать, хоть отнимись у вас язык от ругани, ничего, кроме того, что мне самой угодно!

Хитклиф поднял руку, и говорившая отскочила на безопасное расстояние — очевидно, зная тяжесть этой руки. Не желая вмешиваться в чужую драку, я рассеянно подошел, как будто тоже хочу погреться у очага и ведать не ведаю о прерванном споре. Оба, приличия ради, приостановили дальнейшие враждебные действия; Хитклиф, чтоб не поддаться соблазну, засунул кулаки в карманы, миссис Хитклиф поджала губы и отошла к креслу в дальнем углу, где, верная слову,

изображала собою неподвижную статую до конца моего пребывания под этой крышей. Оно продлилось недолго. Я отклонил приглашение к завтраку и, едва забрезжил рассвет, воспользовался возможностью выйти на воздух, ясный теперь, тихий и холодный, как неосязаемый лед.

Не успел я дойти до конца сада, как хозяин окликнул меня и предложил проводить через торфяное болото. Хорошо, что он на это вызвался, потому что все взгорье представляло собой взбаламученный белый океан; бугры и впадины отнюдь не соответствовали подъемам и снижениям почвы: во всяком случае, многие ямы были засыпаны до краев; а целые кряжи холмов — кучи отработанной породы у каменоломен — были стерты с карты, начертанной в памяти моей вчерашней прогулкой. Я тогда заметил по одну сторону дороги, на расстоянии шести-семи ярдов друг от друга, линию каменных столбиков, тянувшуюся через все поле; они были поставлены и сверху выбелены известью, чтобы служить путеводными вехами в темноте или, когда снегопад, как сегодня, сглаживает под одно твердую тропу и глубокую трясины по обе ее стороны; но, если не считать грязных пятнышек, проступавших там и сям, всякий след существования этих вех исчез; и мой спутник счел нужным не раз предостеречь меня, чтоб я держался правой или левой, когда я воображал, будто следую точно извивам дороги. Мы почти не разговаривали, и у входа в парк он остановился, сказав, что дальше я уже не собою с пути. Мы торопливо раскланялись на прощание, и я пустился вперед, положившись на свое чутье, потому что в домике привратника все еще никого не поселили. От ворот парка до дома — Мызы, как его называют, две мили пути; но я, кажется, умудрился превратить их в четыре: я то терял дорогу, торкаясь между деревьями, то проваливался по горло в снег — удовольствие, которое может оценить только тот, кто сам его испытал. Так или иначе,

когда я после всех своих блужданий вошел в дом, часы пробили двенадцать; получается — ровно час на каждую милю обычного пути от Грозового Перевала!

Домоправительница и ее приспешники бросились меня приветствовать, бурно возглашая, что уже не чаяли увидеть меня вновь: они-де думали, что я погиб накануне вечером, и прикидывали, как вести розыски моих останков. Я попросил их всех успокоиться, раз они видят, что я благополучно вернулся, и, продрогший так, что стыла в жилах кровь, потащился наверх. Там, переодевшись в сухое платье и прошагав с полчаса или больше взад и вперед по комнате, чтоб восстановить живое тепло, я дал отвести себя в кабинет. Я был слаб, как котенок, так слаб, что, кажется, не мог уже радоваться веселому огню и дымящейся чашке кофе, который служанка сварила мне для подкрепления сил.

ГЛАВА IV

Все мы — сущие флюгера! Я, решивший держаться независимо от общества, благодаривший свою звезду, что она наконец привела меня в такое место, где общение с людьми было почти невозможно, — я, слабый человек, продержался до сумерек, стараясь побороть упадок духа и тоску одиночества, но в конце концов был принужден спустить флаг. Под тем предлогом, что хочу поговорить о разных мероприятиях по дому, я попросил миссис Дин, когда она принесла мне ужин, посидеть со мной, пока я с ним расправлюсь; при этом я от души надеялся, что она окажется обыкновенной сплетницей и либо развеселит меня, либо усыпит болтовней.

— Вы прожили здесь довольно долгое время, — я начал, — шестнадцать лет, так вы, кажется, сказали?

— Восемнадцать, сэръ! Я сюда переехала вместе с госпожой, когда она вышла замуж — сперва я должна была

ухаживать за ней, а когда она умерла, господин оставил меня при доме ключницей.

— Вот как!

Она молчала. Я начал опасаться, что миссис Дин если и склонна к болтовне, то лишь о своих личных делах, а они вряд ли могли меня занимать. Однако, положив кулаки на колени и с облаком раздумья на румянном лице, она некоторое время собиралась с мыслями, потом проговорила:

— Эх, другие пошли времена!

— Да, — заметил я, — вам, я думаю, пришлось пережить немало перемен?

— Конечно! И немало передряг, — сказала она.

«Эге, переведу-ка я разговор на семью моего домохозяина! — сказал я себе. — Неплохой предмет для начала! Эта красивая девочка-вдова — хотел бы я узнать ее историю: кто она, уроженка здешних мест или же, что более правдоподобно, экзотическое создание, с которым угрюмые *indigenae*¹ не признают родства?» И вот я спросил миссис Дин, почему Хитклиф сдает внаем Мызу Скворцов и предпочитает жить в худшем доме и в худшем месте.

— Разве он недостаточно богат, чтобы содержать имение в добром порядке? — поинтересовался я.

— Недостаточно богат, сэр? — переспросила она. — Денег у него столько, что и не сочтешь, и с каждым годом все прибавляется. Да, сэр, он так богат, что мог бы жить в доме и почище этого! Но он, я сказала бы... прижимист! И надумай он даже переселиться в Скворцы — едва прослышит о хорошем жильце, нипочем не согласится упустить несколько сотенок дохода. Странно, как могут люди быть такими жадными, когда у них нет никого на свете!

— У него, кажется, был сын?

¹ Туземки (*лат.*).

— Был один сын. Помер.

— А эта молодая женщина, миссис Хитклиф, — вдова его сына?

— Да.

— Откуда она родом?

— Ах, сэр, да ведь она дочка моего покойного господина: ее девичье имя — Кэтрин Линтон. Я ее вынянчила, бедняжку! Хотела бы я, чтобы мистер Хитклиф переехал сюда! Тогда мы были бы снова вместе.

— Как! Кэтрин Линтон! — вскричал я, пораженный. Но, пораздумав полминуты, убедился, что это не Кэтрин моего ночного кошмара.

— Значит, — продолжал я, — до меня в доме жил человек, который звался Линтоном?

— Да.

— А кто такой этот Эрншо, Гэртон Эрншо, который проживает с мистером Хитклифом? Они родственники?

— Нет, он племянник покойной миссис Линтон.

— Следовательно, двоюродный брат молодой хозяйки?

— Да. И муж ее тоже приходился ей двоюродным братом: один с материнской стороны, другой с отцовской. Хитклиф был женат на сестре мистера Линтона.

— Я видел, на Грозовом Перевале над главной дверью дома вырезано: «Эрншо». Это старинный род?

— Очень старинный, сэр; и Гэртон последний у них в семье, как мисс Кэти у нас, то есть у Линтонов. А вы были на Перевале? Простите, что я расспрашиваю, но я рада бы услышать, как ей там живется.

— Кому? Миссис Хитклиф? С виду она вполне здорова и очень хороша собой. Но, думается, не слишком счастлива.

— Ах, боже мой, чего ж тут удивляться! А как вам показался хозяин?

— Жесткий он человек, миссис Дин. Верно я о нем сужу?

— Жесткий, как мельничный жернов, и зубастый, как пила! Чем меньше иметь с ним дела, тем лучше для вас.

— Верно, видел в жизни всякое — и успехи, и провалы, вот и сделался таким нелюдимым? Вы знаете его историю?

— Еще бы, сэр, всю, как есть! Не знаю только, где он родился, кто были его отец и мать и как он получил поначалу свои деньги. А Гэртона ошипали, как цыпленка, и вышвырнули вон. Бедный малый один на всю округу не догадывается, как его провели!

— Право, миссис Дин, вы сделаете милосердное дело, если расскажете мне о моих соседях: мне, я чувствую, не заснуть, если я и лягу; так что будьте так добры, посидите со мною, и мы поболтаем часок.

— Ох, пожалуйста, сэр! Вот только принесу свое шитье и тогда просижу с вами, сколько вам будет угодно. Но вы простыли: я вижу, вы дрожите, надо вам дать горячего, чтобы прогнать озноб.

Добрая женщина вышла из комнаты, а я пододвинулся поближе к огню; голова у меня горела, а всего меня пронизывало холодом. Мало того, я был на грани безумия, так возбуждены были мои нервы и мозг. Поэтому я чувствовал — не скажу, недомогание, но некоторый страх (он не прошел еще и сейчас), как бы все, что случилось со мною вчера и сегодня, не привело к серьезным последствиям. Ключница вскоре вернулась, неся дымящуюся мисочку и корзинку с шитьем; и, поставив кашу в камин, чтоб не остыла, уселась в креслах, явно радуясь тому, что я оказался таким общительным.

— До того, как я переехала сюда на жительство, — начала она, сразу, без дальнейших приглашений, приступив к рассказу, — я почти все время жила на Грозовом Перевале, потому что моя мать вынянчила мистера Хиндли Эрншо (Гэртон его сын), и я обычно играла с господскими детьми; кроме того, я была на побегушках, помогала убирать сено и выполняла на ферме всякую

работу, какую кто ни поручит. В одно прекрасное летнее утро — это было, помнится, в начале жатвы — мистер Эрншо, наш старый хозяин, сошел вниз, одетый, как в дорогу; и, наказав Джозефу, что надо сделать за день, он повернулся к Хиндли и Кэти и ко мне, потому что я сидела вместе с ними и ела овсянку, и сказал своему сыну: «Ну, малый, я сегодня отправляюсь в Ливерпуль, что тебе принести? Можешь выбирать что угодно: только что-нибудь небольшое, потому что я иду в оба конца пешком: шестьдесят миль туда и обратно, не близкий путь!» Хиндли попросил скрипку, и тогда отец обратился с тем же вопросом к мисс Кэти; ей было в ту пору от силы шесть лет, но она ездила верхом на любой лошади из нашей конюшни и попросила хлыстик. Не забыл он и меня, потому что у него было доброе сердце, хоть он и бывал временами суров. Он пообещал принести мне кулек яблок и груш, потом расцеловал своих детей, попрощался и ушел.

Время для всех нас тянулось очень медленно — те три дня, что не было хозяина, и маленькая Кэти часто спрашивала, скоро ли папа придет домой. Миссис Эрншо ждала его к ужину на третий день, и ужин с часу на час откладывали; однако хозяин не появлялся, и дети в конце концов устали бегать за ворота встречать его. Уже стемнело, мать хотела уложить их спать, но они слезно просили, чтоб им позволили еще посидеть; и вот около одиннадцати щеколда на двери тихонько шелкнула, и вошел хозяин. Он бросился в кресло, смеясь и охая, и попросил, чтоб его никто не тормозил, потому что в дороге его чуть не убили, — он, мол, и за все три королевства не согласился бы еще раз предпринять такую прогулку.

— Чтоб меня вдобавок исхлестали до полусмерти! — добавил он, разворачивая широкий кафтан, который держал скатанным в руках. — Смотри, жена! Сроду никогда ни от кого мне так не доставалось. И все же ты

должна принять его, как дар божий, хоть он так черен, точно родился от дьявола.

Мы обступили хозяина, и я, заглядывая через голову мисс Кэти, увидела грязного черноволосого оборвыша. Мальчик был не так мал — он уже умел и ходить и говорить; с лица он выглядел старше Кэтрин, все же, когда его поставили на ноги, он только озирался вокруг и повторял опять и опять какую-то тарабарщину, которую никто не понимал. Я испугалась, а миссис Эрншо готова была вышвырнуть оборвыша за дверь. Она набросилась на мужа, спрашивая, с чего это ему взбрело на ум приволоочь в дом цыганское отродье, когда им нужно кормить и растить своих собственных детей? С ума он, что ли, сошел, — что он думает делать с ребенком? Хозяин пытался разъяснить, как это получилось; но он и в самом деле был чуть жив от усталости, и мне удалось разобрать из его слов, заглушаемых бранью хозяйки, только то, что он нашел ребенка умирающим от голода, бездомным и почти совсем окоченевшим на одной из улиц Ливерпуля; там он его и подобрал и стал расспрашивать, чей он. Ни одна душа, сказал он, не знала, чей это ребенок, а так как времени и денег осталось в обрез, он рассудил, что лучше взять малыша сразу же домой, чем тратиться понапрасну в чужом городе; бросить ребенка без всякой помощи он не пожелал. На том и кончилось; хозяйка поворчала и успокоилась, а мистер Эрншо велел мне вымыть найденыша, одеть в чистое белье и уложить спать вместе с детьми.

Хиндли и Кэти только глядели и слушали, пока старшие не помирились; а тогда они оба стали шарить в карманах у отца, ища обещанные подарки. Мальчику было четырнадцать лет, но, когда он извлек из отцовского кафтана обломки того, что было скрипкой, он громко расплакался, а Кэти, когда узнала, что мистер Эрншо, куда возился с найденышем, потерял ее хлыстик, принялась со зла корчить рожи и плевать; за свои старанья

она получила от отца затрещину, которая должна была научить ее более приличным манерам. Ни брат, ни сестра ни за что не хотели лечь в одну кровать с незнакомым мальчиком или хотя бы пустить его в свою комнату; я тоже оказалась не разумней и уложила его на площадке лестницы в надежде, что, может быть, к утру он уйдет. Случайно ли, или слышав его голос, найденыш приполз к дверям мистера Эрншо, и там хозяин наткнулся на него, когда выходил из комнаты. Пошли расспросы, как он тут очутился. Мне пришлось сознаться, и в награду за трусость и бессердечие меня выслали из дома.

Так Хитклиф вступил в семью. Когда я через несколько дней вернулась к господам (я не считала, что изгнана навсегда), мне сказали, что мальчика окрестили Хитклифом: это было имя их сына, который умер в младенчестве, и так оно с тех пор и служило найденышу и за имя и за фамилию. Мисс Кэти и Хитклиф были теперь неразлучны, но Хиндли его ненавидел. И, сказать по правде, я тоже; мы его мучили и обходились с ним прямо-таки бессовестно, потому что я была неразумна и не сознавала своей неправоты, а госпожа ни разу ни одним словечком не вступилась за приемыша, когда его обижали у нее на глазах.

Он казался тупым, терпеливым ребенком, привыкшим, вероятно, к дурному обращению. Глазом не моргнув, не уронив слезинки, переносил он побои от руки Хиндли, а когда я щипалась, он, бывало, только затаит дыхание и шире раскроет глаза, будто это он сам нечаянно укололся и некого винить. Оттого, что мальчик был так терпелив, старый Эрншо приходил в ярость, когда узнавал, что Хиндли преследует «бедного сиротку», как он называл приемыша. Он странно пристрастился к Хитклифу, верил каждому его слову (тот, надо сказать, жаловался редко и по большей части справедливо) и баловал его куда больше, чем Кэти, слишком шаловливую и своенравную, чтобы стать любимицей семьи.

Таким образом, мальчик с самого начала внес в дом дух раздора; а когда не стало миссис Эрншо (она не прожила и двух лет после появления у нас найденыша), молодой господин научился видеть в своем отце скорее притеснителя, чем друга, а в Хитклифе — узурпатора, отнявшего у него родительскую любовь и посягавшего на его права; и он все больше ожесточался, размышляя о своих обидах. Я ему сперва сочувствовала, но когда дети захворали корью, и мне пришлось ухаживать за ними, и сразу легли на меня все женские заботы, мои мысли приняли другой поворот. Хитклиф хворал очень тяжело, и в самый разгар болезни, когда ему становилось особенно худо, он не отпускал меня от своей постели: мне думается, он чувствовал, что я много делаю для него, но не догадывался, что делаю я это не по доброй воле. Как бы там ни было, но я должна сознаться, что он был самым спокойным ребенком, за каким когда-либо приходилось ухаживать сиделке. Сравнивая его с теми двумя, я научилась смотреть на него с меньшим пристрастием. Кэти с братом прямо замучили меня, а этот болел безропотно, как ягненок, хотя не кротость, а черствость заставляла его причинять так мало хлопот.

Он выкарабкался, и доктор утверждал, что это было в значительной мере моею заслугой, и хвалил меня за такой заботливый уход. Похвалы льстили моему тщеславию и смягчали мою неприязнь к существу, благодаря которому я заработала их, так что Хиндли потерял своего последнего союзника. Все же полюбить Хитклифа я не могла и часто недоумевала, что хорошего находит мой хозяин в угрюмом мальчишке; а тот, насколько я помню, не выказывал никакой благодарности за эту слабость. Он не был дерзок со своим благодетелем, он был просто бесчувственным; а ведь знал отлично свою власть над его сердцем и понимал, что ему довольно слово сказать, и весь дом будет принужден покориться его желанию. Так, например, я помню, мистер Эрншо

купил однажды на ярмарке двух жеребчиков и подарил их мальчишкам: каждому по лошадке. Хитклиф выбрал себе ту, что покрасивей, но она скоро охромела, и, когда мальчишка это увидел, он сказал Хиндли:

— Ты должен поменяться со мной лошадками: мне моя не нравится, а если не поменяешься, я расскажу твоему отцу, как ты меня поколотил три раза на этой неделе, и покажу ему свою руку, а она у меня и сейчас черная по плечо. — Хиндли показал ему язык и дал по уху. — Поменяйся лучше сейчас же, — настаивал Хитклиф, отбежав к воротам (разговор шел на конюшне), — ведь все равно придется; и если я расскажу об этих побоях, ты их получишь назад с процентами.

— Ступай вон, собака! — закричал Хиндли, замахнувшись на него чугунной гирей, которой пользуются, когда взвешивают картошку и сено.

— Кидай, — ответил тот, не двинувшись с места, — и тогда я расскажу, как ты хвастался, что сгонишь меня со двора, как только отец умрет, и посмотрим, не сгонят ли тут же тебя самого.

Хиндли кинул гирию и угодил Хитклифу в грудь, и тот упал, но сейчас же встал. Он был бледен и дышал с трудом; и если бы я его не удержала, он тут же побежал бы к хозяину и был бы отомщен сторицей: весь вид говорил бы за него, а кто это сделал, он не стал бы скрывать.

— Ладно, бери мою лошадку, цыган! — сказал молодой Эрншо. — И я буду молить бога, чтоб она свернула тебе шею. Бери и будь ты проклят, ты, нищий подлипала! Тяни с моего отца все, что у него есть, но только пусть он потом увидит, каков ты на деле, отродье сатаны... Бери мою лошадку, и я надеюсь, что она копытом вышибет тебе мозги!

А Хитклиф уже отвязал жеребчика и повел его в свое стойло; он шел и подгонял сзади лошадку, когда Хиндли в подкрепление своей речи дал ему подножку и, не остановившись даже посмотреть, исполнились ли его

пожелания, кинулся бежать со всех ног. Я была поражена, когда увидела, как спокойно мальчик встал, оправился и продолжал, что задумал: обменял седла и сбрую, а потом присел на кучу сена, чтобы побороть тошноту от сильного удара в грудь, и только после этого вошел в дом. Я без труда уговорила его, чтоб он позволил мне свалить на лошадь вину за его синяки: ему было все равно, что там ни выдумают, раз он получил, чего желал. В самом деле, Хитклиф так редко жаловался в подобных случаях, что я считала его и впрямь незлопамятным. Я глубоко ошибалась, как вы увидите дальше.

ГЛАВА V

С годами мистер Эрншо начал сдавать. Он был всегда бодрый и здоровый, но силы вдруг оставили его; и когда ему пришлось ограничиться уголком у камина, он сделался страшно раздражительным. Каждый пустяк терзал его; а уж если ему примнится, бывало, что с ним перестали считаться, он чуть что не бился в припадке. Особенно когда кто-нибудь осмеливался задевать его любимца или командовать над ним. Он ревниво следил, чтоб никто не сказал мальчишке худого слова; ему как будто запало в мысли, что вот из-за того, что он любит Хитклифа, все ненавидят приемыша и норовят обидеть его. Хитклифу это принесло немалый вред, потому что те из нас, кто был подороже, не хотели раздражать хозяйина, и мы потакали его пристрастию; а такое потворство было той пищей, которая питала гордость ребенка и его злонравие. Однако в какой-то мере это было все-таки нужно; раза два или три случалось, что Хиндли в присутствии отца выказывал свое презрение к приемышу, и старик приходил в ярость: он хватал палку, чтоб ударить сына, и трясся от бешенства, понимая, что был бессилен это сделать.

Наконец наш викарий (у нас был тогда викарий, живший тем, что учил маленьких Линтонов и Эрншо и сам обрабатывал свой клочок земли) посоветовал отправить молодого человека в колледж; и мистер Эрншо согласился, хоть и неохотно, потому что, говорил он, «Хиндли бездельник и, куда он ни подайся, ни в чем не добьется успеха».

Я от души надеялась, что теперь у нас водворится мир. Мне было больно думать, что наш господин должен мучиться через собственное доброе дело. Я воображала, что его старческая раздражительность и недуг происходили от неурядицы в семье, так что он как будто сам держал в руках то, что было их причиной. На деле же, как вы понимаете, сэр, беда была в том, что силы его шли на убыль. Мы всё же могли бы жить себе, и жить вполне сносно, если бы не два человека — мисс Кэти и Джозеф, слуга: вы его, я думаю, видели там у них. Он был — верно, и остался — самым нудным, самодовольным фарисеем, какой когда-либо рылся в Библии, чтоб выуживать из нее благие пророчества для себя и проклятия, которые можно обрушить на ближних. Понаторев в проповедничестве и набожных речах, он сумел произвести впечатление на мистера Эрншо; и чем слабее становился господин, тем больше подпадал под влияние своего слуги. Джозеф неотступно донимал хозяина своими наставлениями насчет заботы о душе и советами держать детей в строгости. Он научил его смотреть на Хиндли, как на беспутного негодяя; и из вечера в вечер брюзгливо плел длинную нить наговоров на Хитклифа и Кэтрин — причем он всегда старался польстить слабости старого Эрншо, взваливая всю тяжесть вины на девочку.

Правда, в ней было столько своенравия, сколько я не встречала до того ни в одном ребенке; она всех нас выводила из себя пятьдесят раз на дню и чаще; с того часа, как она сойдет, бывало, вниз, и до часа, когда уляжет-

ся спать, мы не знали ни минуты покоя, ожидая всяческих проказ. Всегда она была до крайности возбуждена, а язык ее не знал уговона: она пела, смеялась и тормошила всякого, кто вел себя иначе. Вбалмошная, дурная девчонка, но ни у кого на весь приход не было таких ясных глаз, такой милой улыбки, такой легкой ножки; и в конце концов, мне думается, она никому не желала зла. Если ей случалось довести вас до слез, она, бывало, не отойдет от вас и будет плакать сама, пока не принудит вас успокоиться — ей в утеху. Она была очень привязана к Хитклифу. Худшим наказанием, какое могли мы для нее придумать, было держать их врозь. И все-таки ей из-за него влетало больше, чем всем нам. В играх она очень любила изображать маленькую хозяйку, давая волю рукам и командуя над товарищами. Так же она вела себя и со мною, но я не терпела, чтобы мною помыкали и распоряжались, и я не давала ей спуска.

Мистер Эрншо в обращении с детьми не признавал шуток: он всегда был с ними суров и важен; а Кэтрин со своей стороны никак не могла понять, почему отец в своем болезненном состоянии стал злей и нетерпимей, чем был он раньше, в расцвете сил. Его ворчливые упреки пробуждали в ней озорное желание подзадорить его; никогда не бывала она так счастлива, как если мы все разом бранили ее, а она отражала наши нападки вызывающим, дерзким взглядом и смелыми словами, поднимая на смех Джозефа с его библейскими проклятиями, подразнивая меня и делая то, из-за чего хозяин особенно сердился: она показывала, что ее напускная дерзость, которую тот принимал за подлинную, имеет над Хитклифом больше власти, чем вся доброта его приемного отца; что мальчик следует любому ее приказанию, а приказания хозяина выполняет лишь тогда, когда они отвечают его собственным желаниям. Весь день, бывало, она ведет себя так, что хуже некуда, а вечером придет приласкаться к отцу. «Нет, Кэти, — говорил тогда

старик, — не могу я тебя любить, ты хуже своего брата. Ступай помолись, дитя, и проси у бога милости. Боюсь, нам с твоей матерью впору каяться, что мы тебя взрастили!» Сперва она плакала от таких его слов; но потом, постоянно отвергаемая, девочка зачерствела сердцем и смеялась, когда я посылала ее к отцу повиниться и попросить прощения.

Но пришел час, положивший конец земным невзгодам мистера Эрншо. В один октябрьский вечер, сидя у огня, он мирно скончался в своем кресле. Ветер бушевал вокруг дома и выл в трубе дико и грозно. От этого делалось жутко, но холодно не было, и мы собрались все вместе — я, несколько поодаль от очага, занялась своим вязаньем, а Джозеф читал Библию за столом (слуги у нас, закончив работу, обыкновенно сидели в доме вместе с господами). Мисс Кэти нездоровилось, и поэтому она была тиха; она прикорнула в ногах у отца, а Хитклиф лежал на полу, положив голову ей на колени. Помню, мистер Эрншо, перед тем как впасть в дремоту, погладил ее красивые волосы — ему редко доводилось видеть ее такой милой — и сказал:

— Почему ты не можешь быть всегда хорошей девочкой, Кэти?

А она подняла на него глаза, рассмеялась и ответила:

— Почему ты не можешь быть всегда хорошим, папа?

Но как только она увидела, что он опять рассердился, она поцеловала ему руку и сказала, что сейчас убаюкает его песней. Она запела очень тихо и пела до тех пор, пока его пальцы не выскользнули из ее руки и голова не упала на грудь. Тогда, боясь, что девочка его разбудит, я попросила ее замолчать и не двигаться. Мы все притихли, как мышки, на добрых полчаса и долго бы молчали, и только Джозеф, дочитав главу, поднялся и сказал, что должен разбудить хозяина, чтобы он помолился и улегся спать. Он подошел, окликнул его по имени и тронул за плечо, но тот не шевельнулся, и Джозеф тогда взял све-

чу и поглядел на него. Когда же Джозеф снова поставил свечу, я поняла, что с хозяином неладно; и, взяв обеих детей за руки, я шепнула им, чтоб они «шли наверх и постарались не шуметь, сегодня они могут помолиться сами — у Джозефа много дел».

— Я сперва скажу папе спокойной ночи, — возразила Кэтрин, и не успели мы ее остановить, как она уже обвила руками его шею. Бедная девочка тут же поняла свою потерю, она вскричала: — Ох, он умер, Хитклиф, он умер! — И они оба так зарыдали, что сердце разрывалось слушать их.

Я плакала с ними вместе, громко и горько. Тогда Джозеф спросил, с чего это мы разревелись о святом в небесах. Он велел мне надеть салоп и бежать в Гиммертон за доктором и за пастором. Мне было невдомек, что проку теперь от того и от другого. Все же я пошла в дождь и ветер, но привела с собою только одного доктора; пастор же сказал, что придет наутро. Предоставив Джозефу рассказывать, как все произошло, я побежала к детям. Дверь их комнаты была раскрыта настежь, и я увидела, что они и не думали ложиться, хоть было за полночь; но они стали спокойней, и мне не понадобилось их утешать. Они сами утешили друг друга такими добрыми словами, какие мне не пришли бы на ум: ни один пастор на свете не нарисовал бы рай таким прекрасным, каким они его изобразили в своих простодушных речах. Я слушала, рыдая, и невольно пожелала, чтобы все мы вместе поскорее попали на небо.

ГЛАВА VI

Мистер Хиндли приехал домой на похороны и, что нас крайне удивило и вызвало пересуды по всей округе, привез с собою жену. Кто она такая и откуда родом, он нам не стал объяснять; вероятно, она не могла похва-

литься ни деньгами, ни именем, иначе он не скрывал бы свой брак от отца.

Она была не из тех, кто при первом своем появлении переворачивает весь дом. С той минуты, как она переступила наш порог, все, казалось, ее восхищало, на что бы она ни поглядела, — и вещи, и все, что делалось у нас, — все, кроме приготовлений к похоронам и вида молчаливо скорбящих людей. Я приняла ее за полоумную — так она себя вела, пока совершали обряд: она убежала к себе в комнату и велела мне пойти с нею, хотя мне нужно было переодевать детей. Там она сидела, вся дрожа, сжимала руки и спрашивала беспрестанно: «Они уже ушли?» Потом она стала в истерическом исступлении описывать, какое действие оказывает на нее все черное, и вздрагивала, и тряслась, и наконец расплакалась, а когда я спросила — почему, она ответила, что не знает; но умирать так страшно! Мне подумалось, что она так же мало походит на умирающую, как и я. Она была тоненькая, молодая, со свежим цветом лица, и глаза у нее сверкали ярко, как бриллианты. Правда, я заметила, что на лестнице у нее начиналась одышка, что при всяком неожиданном звуке ее всю передергивало и что временами она мучительно кашляла. Но я тогда не имела понятия, что предвещали все эти признаки, и ничуть не склонна была ее жалеть. Мы тут вообще не расположены к чужакам, мистер Локвуд, — разве что они первые проявят к нам расположение.

За три года, что его не было дома, молодой Эрншо сильно изменился. Он похудел и утратил румянец, говорил и одевался по-иному; и в первый же день, как вернулся, он сказал Джозефу и мне, что впредь мы должны сидеть у себя на кухне, а столовую предоставить ему. Он даже хотел было застлать ковром и оклеить пустовавшую маленькую комнату и устроить в ней гостиную; но его жене так по сердцу пришлось и белый каменный пол, и большой ярко пылавший камин, и оловянные

блюда, и горка с голландским фаянсом, и собачий закут, и большие размеры той комнаты, где они обычно сидели, — хоть танцуй! — что он счел это не столь необходимым для ее доброго самочувствия и отказался от своей затеи.

Она выразила также радость, что в числе своих новых знакомцев обрела сестру; и она щебетала над Кэтрин, и бегала с ней, и зацеловывала ее, и задаривала — поначалу. Скоро, однако, ее дружеский пыл иссяк, а когда жена его, бывало, надуется, Хиндли становился тираном. Ей достаточно было сказать о Хитклифе несколько неодобрительных слов, и вновь поднялась вся его былая ненависть к мальчику. Он удалил его со своих глаз, отправил к слугам и прекратил его занятия с викарием, настояв, чтобы вместо ученья он работал — и не по дому, а в поле; да еще следил, чтоб работу ему давали не легче, чем всякому другому работнику на ферме.

Сначала Хитклиф переносил свое унижение довольно спокойно, потому что Кэти обучала его всему, чему училась сама, работала с ним вместе и играла. Они обещали оба вырасти истинными дикарями: молодой господин не утруждал себя заботой о том, как они себя ведут и что делают — лишь бы не докучали ему. Он даже не следил, чтоб они ходили по воскресеньям в церковь, и только Джозеф и викарий корили его за такое небрежение, когда дети не являлись на проповедь; и тогда Хиндли приказывал высечь Хитклифа, а Кэтрин оставить без обеда или без ужина. Но для них было первой забавой убежать с утра в поля и блуждать весь день в зарослях вереска, а там пускай наказывают — им только смех. Пускай викарий задает Кэтрин выучить наизусть сколько угодно глав, и Джозеф пускай колотит Хитклифа, пока у него у самого не заболит рука, — они всё забывали с той минуты, когда снова оказывались вдвоем или по меньшей мере с минуты, когда им удавалось составить какой-нибудь озорной заговор мести. Сколько раз я плакала потихоньку, видя, что они стано-

вятся со дня на день отчаянней, а я и слова молвить не смею из боязни потерять ту небольшую власть, какую еще сохраняла над этими заброшенными детьми. В один воскресный вечер случилось так, что их выгнали из столовой за то, что они расшумелись, или за какую-то другую пустячную провинность; и когда я пошла позвать их к ужину, я нигде не могла их сыскать. Мы обшарили весь дом сверху донизу, и двор, и конюшни: их нигде не оказалось; и наконец Хиндли, озлившись, велел нам запереть дверь и строго-настрого запретил пускать их до утра. Все домашние легли спать, и я, слишком встревоженная, чтобы улечься, отворила у себя окошко и стала прислушиваться, высунув голову наружу, хотя шел сильный дождь; решила, невзирая на запрет, все-таки впустить их, если они придут. Прошло немного времени, и вот я различила звук шагов на дороге и мерцающий за воротами свет фонаря. Я набросила на голову платок и побежала предупредить их, чтоб они не стучали и не разбудили мистера Эрншо. Навстречу мне шел только Хитклиф; меня затрясло, когда я увидела, что он один.

— Где мисс Кэтрин? — закричала я тут же. — Надеюсь, ничего не случилось?

— Она в Скворцах, на Мызе, — ответил он, — и я был бы сейчас там же, но у них не хватило вежливости предложить мне остаться.

— Ох, допрыгаешься ты, мальчик! — сказала я. — Никогда ты не успокоишься, пока не приведешь в исполнение свою затею. С чего вам вздумалось идти на Мызу?

— Дай мне скинуть мокрое платье, и тогда я все тебе расскажу, Нелли, — ответил он.

Я попросила его быть поосторожнее — чтоб не проснулся хозяин; и пока мальчик раздевался, а я ждала, когда можно будет затушить свечу, он продолжал свой рассказ:

— Мы с Кэти убежали через прачечную, чтобы побродить на свободе, и, завидев вдалеке огни Мызы, ре-

шили подойти и посмотреть, как эти Линтоны проводят воскресный вечер: стоят каждый в своем углу и мерзнут, покуда их папа с мамой едят и пьют за столом, поют и смеются и портят себе глаза у жаркого очага? Думаешь, стояли и мерзли, да? Или читали проповеди, а слуга спрашивал у них катехизис? И заставлял их заучивать наизусть целые столбцы библейских имен, если они отвечали неправильно?

— Вероятно, нет, — ответила я. — Они, без сомнения, хорошие дети, их не за что наказывать, как вас, когда вы себя плохо ведете.

— Брось ты поучать, Нелли, — сказал он. — Все это вздор! Мы бежали без передышки от Перевала до парка, и Кэтрин сбила себе ноги, потому что была босиком. Завтра придется тебе поискать на болоте ее башмаки. Мы пролезли в пролом забора, прошли ошупью по дорожке и влезли на цветочную грядку под окном гостиной; оттуда падал свет; они не затворили ставней, и гардины были задернуты только наполовину. Мы оба могли смотреть в окно, встав на выступ фундамента и облокотившись на подоконник, и мы увидели — ах, это было так красиво! — роскошную комнату, застланную малиновым ковром, и крытые малиновым кресла и малиновые скатерти, чистый белый потолок в золотом ободке, а от середины потолка на серебряных цепях свисали гирлянды стеклянных подвесок, точно сверкающий дождь, и мерцали тоненькие свечки. Старых Линтонов, господина и госпожи, там не было; Эдгар со своей сестрой располагали одни всею комнатой! Ведь это же счастье, правда? Мы почитали бы себя в раю. Так вот угадай, что делали твои «хорошие дети»! Изабелла — ей, кажется, одиннадцать лет, на год меньше, чем Кэти, — лежала на полу в дальнем углу комнаты и так вопила, точно ведьмы вгоняли в нее раскаленные иглы. Эдгар стоял у камина и беззвучно плакал, а на столе, визжа и помахивая лапкой, сидела собачонка, которую они,

как мы поняли из их взаимных попреков, чуть не разодрали пополам. Идиоты! Вот их забава! Ссорятся из-за того, кому подержать теплый комочек шерсти, и оба ударяются в слезы, потому что, сперва подравшись из-за него, ни он, ни она не хотят потом его взять. И посмеялись же мы над балованным дурачком! Мы их презирали всей душой! Когда ты видела, чтобы я требовал того, чего хочется Кэтрин? Или чтоб мы с нею, оставшись вдвоем, развлекались тем, что ревели, и выли бы, и рыдали, и катались по полу в двух разных концах огромной комнаты? И за тысячу жизней я не променял бы здешнего своего положения на жизнь Эдгара Линтона в Скворцах — даже если бы мне дали право сбросить Джозефа с гребня крыши и выкрасить парадную дверь кровью Хиндли!

— Тише, тише! — перебила я его. — Однако ты еще не объяснил мне, Хитклиф, почему Кэтрин осталась там?

— Я сказал тебе, что мы рассмеялись, — ответил он. — Линтоны нас услышали и, как сговорившись, стремглав бросились оба к дверям; сперва было тихо, потом поднялся крик: «Ой, мама, мама! Ой, папа! Ой, мама, идите сюда! Ой, папочка, ой!» Нет, правда, они кричали что-то в этом роде. Тогда мы учинили страшный шум, чтобы еще больше напугать их, а потом прыгнули с подоконника, потому что кто-то загремел засовами, и мы поняли, что пора удирать. Я держал Кэти за руку и торопил ее, как вдруг она упала. «Беги, Хитклиф, беги! — шептала она. — Они спустили бульдога, и он меня держит!» Чертов пес схватил ее за лодыжку, Нелли: я слышал его омерзительное сопенье. Она не взвизгнула, нет, она не стала бы визжать, даже если бы ее подняла на рога бешеная корова. Но я завопил. Я провозгласил столько проклятий, что ими можно бы уничтожить любого черта в христианском мире; и я взял камень, засунул его псу между челюстями и старался изо всей силы пропихнуть в глотку. Скотина лакей

пришел наконец с фонарем и закричал: «Держи крепко, Ползун, держи крепко!» Однако он осекся, когда увидел, какую дичь поймал Ползун. Собаку оттащили, сдавив ей горло, большой багровый язык на полфута свесился у нее из пасти, и с обмякших губ струилась кровавая пена. Лакей поднял Кэти. Она потеряла сознание: не от страха, я уверен, а от боли. Он понес ее в дом; я прошел следом, ругаясь и грозя отомстить. «С какой добычей, Роберт?» — крикнул Линтон с порога. «Ползун поймал маленькую девочку, сэр, — ответил слуга. — И тут еще мальчишка, — добавил он, вцепившись в меня, — с виду отпетый из отпетых! Верно, грабители хотели посадить их, чтоб они влезли в окошко, а ночью, когда все улягутся, отперли бы шайке двери, и нас без помехи прирезали бы... Заткни свою глотку, подлый воришка! Ты за это дело отправишься на виселицу. Мистер Линтон, сэр, не выпускайте из рук ружье». — «Да, да, Роберт, — сказал старый дурак, — негодяи узнали, что вчера я получал плату с арендаторов; они думали захватить меня врасплох. Пусть приходят: я им подготовил неплохую встречу. Эй, Джон, заложи дверь на цепочку. Дженни, дайте Ползуну воды. Напасть на судью в его собственном доме, да еще в воскресенье! До чего же дойдет их наглость? Ох, взгляни, дорогая Мэри! Не бойся, это только мальчик, но по его наглой улыбке сразу видно мерзавца. Разве не будет благодеянием для страны повесить его поскорее, прежде чем он успеет проявить свою натуру не только выражением лица, но и делами?» Он потащил меня под люстру, и миссис Линтон насадила очки на нос и в ужасе воздела руки. Трусишки-дети тоже подобрались поближе, а Изабелла зашепелявила: «Какой страшный! Посади его в погреб, папа. Он точь-в-точь похож на сына того гадалщика, который украл моего ручного фазана. Правда, Эдгар?»

Пока они меня разглядывали, Кэти пришла в себя; она услышала последние слова и рассмеялась. Эдгар

Линтон, внимательно присмотревшись, наконец очутился настолько, что узнал ее. Они видели нас в церкви — мы редко встречались с ними где-нибудь еще, сама знаешь. «Да ведь это мисс Эрншо! — шепнул он матери. — И ты только посмотри, как искусал ее Ползун, — кровь так и хлещет из ноги!»

— Мисс Эрншо? Какой вздор! — вскричала она. — Будет мисс Эрншо рыскать по округе с цыганом! Впрочем, мой милый, девочка и в самом деле в трауре — ну да, конечно, — и она может остаться на всю жизнь калекой!

— Какое преступное небрежение со стороны ее брата! — провозгласил мистер Линтон, переводя взгляд с меня на Кэтрин. — Я слышал от Шильдеров (Шильдер был у нас викарием, сэръ), что брат дает ей расти истинной язычницей. А это кто? Где она подобрала такого спутника? Эге! Да это, верно, то замечательное приобретение, с которым мой покойный сосед вернулся из Ливерпуля, — сын индусского матроса или вышвырнутый за борт маленький американец или испанец...

— Во всяком случае, скверный мальчишка, — заметила старая дама, — которого нельзя держать в приличном доме! Ты обратил внимание, какие он употребляет слова, Линтон? Я в ужасе, что моим детям пришлось это слышать.

Я снова начал ругаться — не сердись, Нелли, — так что Роберту было приказано увести меня подальше. Я отказывался уйти без Кэти; он поволок меня в сад, сунул мне в руку фонарь, сказал, что мистеру Эрншо будет доложено о моем поведении, и, велев мне сейчас же убираться, снова запер дверь. Гардины были неплотно сдвинуты в одном углу, и я залез на прежнее наше место и стал подглядывать. Если бы Кэтрин захотела вернуться, я раздробил бы их большое зеркальное стекло на миллион осколков, попробуй они ее не выпустить! Она спокойно сидела на диване. Снимая с нее серый